

Культурный код

Андрей БОЧКАРЕВ

Родился в 1955 году в Казани. Окончил переводческий факультет Горьковского государственного педагогического института иностранных языков.

Доктор Парижского университета Сорбонна (Париж IV), доктор филологических наук, профессор кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород).

Сфера научных интересов: семиотика языка, литературы и искусства.

Автор книг: «Растительный мотив в творчестве Марселя Пруста» (1998), «Семантический словарь» (2003), «В поисках смысла. Живопись В. Грачева» (2004), «Эпистемологические аспекты значения» (2007), «Русское в русском искусстве. XVIII–XX вв.» (2007), «Семантика. Основной лексикон» (2014).

Живет в Нижнем Новгороде.

НОВАТОРЫ VS АРХАИСТЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ? О понятии культуры и культурной экологии

Культура – гетерогенное полифункциональное целое. Под понятие культуры можно подвести самые разнообразные явления – и нормы бытового поведения, и язык, и произведения литературы и искусства, и национальные традиции, обычаи и обряды, и социальные и политические институты, и хранимые в памяти схемы повседневного опыта. При, казалось бы, разительном отличии общим для всех областей и реализаций культуры остается вместе с тем общность культурного кода, кода памяти, как и брошенный экологии культуры вызов – коммерциализация, засорение псевдокультурными симулякрами и пастишами, разрушительная трансгрессия постмодернистских реинтерпретаций.

В связи участвовавшими в последнее время разговорами о культуре, культурном пространстве, культурных кодах, отношении культуры к идеологии, роли государства в регулировании культурных процессов нелишне разобраться, что такое культура, можно ли отнести сюда, помимо духовных благ, и материальные блага или, довольствуясь научно-техническим прогрессом, обойтись вообще без того, что называют обычно культурой.

Подобные вопросы возникают периодически на сломе исторических эпох, когда традиционная культура, покидая область предсказуемости, становится с увеличением степеней свободы хаотически

непредсказуемой, теснится не-культурой, превращается в товар или, что не менее симптоматично, подменяется псевдокультурными симулякрами, пастишами и постмодернистскими реинтерпретациями. Чем больше таких выпадающих из привычного культурного ряда событий и фактов, тем больше ощущение возрастающего хаоса – «вторичного исторического хаоса».

Определения культуры. Определений культуры много, как много и вкладываемых в определяемое понятие смыслов*. Под культурой можно понимать и разнообразные ее реализации в виде засвидетельствованных в общественной практике произведений, действий и поступков, и построенную на их основе исторически подвижную нормативную реконструкцию в статусе возведенной в абсолюте инвариантной модели**.

В качестве эмпирически данных фактов культура существует в виде конкретных своих проявлений: верований, обрядов, литературных текстов, музыкальных произведений, устного народного творчества, памятников архитектуры, рецептов национальной кухни и т. п., в качестве концептуального каркаса фильтрует заданные на разных предметных областях наиболее значимые для всех реализаций специфически «культурные» свойства и функции: регламентировать межличностные отношения, обладать способностью к символизации, быть программой поведения, ненаследственной памятью коллектива, социальным механизмом координации, средоточием национальной памяти, связующим звеном между прошлым и будущим и т. д. И даже когда какое-то привлекаемое для разбора явление расходится с этими принципами, всякое отклонение трактуется неизбежно как подтверждение общего правила. Например, использование нецензурной лексики в произведениях литературы и кино, телевизионных передачах или речевом обиходе чиновников подтверждает а *contrario* требования к литературной норме, переход проезжей части на красный свет – требование соблюдения правил дорожного движения, неумение пользоваться вилок и ножом – требования к этикету, сервировке стола и т. п.

Культура vs не-культура. Во всех случаях подводимые под культуру явления складываются в некие особым образом организованные множества, а точнее: подмножества, образованные по какому-то избираемому по случаю общему признаку. По данному признаку одна культурная парадигма отличается, как «свой» от «чужого», от другой культурной парадигмы. По справедливому замечанию Ю.М. Лотма-

* Восходя к лат. *cultura*, культура определяется в ближайшем этимологическом значении по такому весьма примечательному для определяемого понятия свойству, как возделывание, обработка, уход: ср. *сельскохозяйственные культуры*. В этом смысле культура противостоит природе, прежде всего необработанной, как «вторая природа». К другим определениям см., в частности, Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997.

** В этом смысле можно, безусловно, говорить, что «культура вообще» – это абстракция, полученная путем отвлечения от несущественных с точки зрения идеальной модели свойств с целью выделения наиболее релевантных свойств, которыми обладают по определению все или почти все культурные реализации. В противном случае нельзя понять, почему некоторые западные культурологи, в том числе А.Л. Крёбер и К. Клакхон, утверждают, что «культура есть не само поведение, а его абстракция» (Л.А. Уайт. Понятие культуры // Антология исследований культуры. С. 18–19).

на, культура нуждается в таком противопоставлении*. Разделительная линия по признаку «свой» – «чужой» может проходить и по национальности, и по вероисповеданию, и по партийной принадлежности, и по социальному статусу, и по роду службы, и по месту жительства, и по спортивным интересам, любимой футбольной команде, банному дню...**

В таком разбросе мнений, когда в одном сознании уживаются разные модели, и не составляет труда перейти от одной модели к другой, характер противопоставления может меняться вместе с востребованным сейчас и здесь свойством. «Свой» в одном отношении может становиться «чужим» в другом отношении: вместе ходим в баню – «свой», болеет за «Спартак» – «чужой», за воссоединение Крыма с Россией – опять «свой»***, и так до тех пор, пока чаша весов не склонится в пользу оценочного суждения со знаком «-» или «+». Не-культура предстает в таком случае как непричастность определенному мировоззрению, социальному статусу, укладу, образу жизни, нормам поведения, по которым задается причастность своему кругу, кругу своей культуры. Поэтому далеко небезразлично, какие возобладают в ситуации выбора частнооценочные свойства. Как и гоголевской невесте, выбирающей между губами Никанора Ивановича, носом Ивана Кузьмича, развязностью Бальтазара Бальтазарыча и дородностью Ивана Павловича, принципиально важно определиться, чему отдать предпочтение: этносу, нации, роду, вероисповеданию, цеховой принадлежности, спортивной команде, банному дню или общему делу. В идеальном раскладе «недостатки» если и не подавляются, то хотя бы компенсируются достоинствами в уступительных конъюнкциях с возмещающей частицей *зато*: *напр. пусть болеет за «Зенит», зато нашей веры* или *вечно опаздывает в баню, зато всегда за наших*. Предельно убедительной общая положительная оценка становится при этом лишь тогда, когда приводимое в качестве контраргумента достоинство возобладает над частными «недостатками», поскольку занимает в иерархии ценностей куда более важное место.

* Ю.М. Лотман. О семиотическом механизме культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 485–503.

** Акцидентные множества могут даже создаваться и по какому-то востребованному в контексте случайному признаку, как это происходит, например, в повести Чехова «Степь»:

– Дед, зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.

– Кто пьет из ведра, а кто из лампадки.

С точки зрения отвечающего, поясняет В. Г. Гак, люди делятся здесь на два взаимно исключаящих класса: «тех, кто пьет из ведра» и «тех, кто пьет из лампадки»; причем основанием такого деления служат присоединенные в контексте предикаты в отношении дизъюнкции: *пить из ведра* и *пить из лампадки* (В.Г. Гак Онтологические прагматические классы // Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 32–40). Такие образования легко создаются и так же быстро исчезают, когда в них отпадает необходимость, но остаются вместе с тем множествами, структурированными по признаку «мы» – «они», «свой» – «чужой», «наши» – «не наши».

*** Вопреки непреложному закону тождества один и тот же объект оказывается, таким образом, не равным самому себе в разных контекстах мнения. Так подтверждается принципиальное различие между экстенционалом и интенционалом, а вместе с тем и следующее из этого различия положение: экстенциональное тождество не влечет обязательно интенциональное тождество. В зависимости от того, как определяется в суждении объект, меняется и мнение об объекте, объект мнения, его выделение и спецификация.

Культура как коллективная память. По свидетельству историков культуры, культура функционирует во многом по законам человеческой памяти. В культурной памяти прошлое если и не исчезает, не уходит в небытие, то подвергается постоянно отбору и пересмотру вплоть до вытеснения каких-то текстов, событий и фактов в область глубинного подсознания, пока не возникнут более благоприятные обстоятельства для их извлечения из подвалов памяти. В известном смысле культурная память сродни палимпсесту (Ш. Бодлер), археологии знаний (М. Фуко) или огромной библиотеке (У. Эко) с множеством зачитанных или подолгу пылящихся на полках невостребованных книг.

Культурная память – это и память времени, и память места, и память события. Кто из нижегородцев, кроме историков-краеведов, помнит сегодня, что было на месте World Trade Center на ул. Ковалихинской, как выглядел до перестройки особняк в стиле модерн на ул. Минина, что размещалось в прежние времена в здании областной библиотеки, в каком году была Куликовская битва, кто основал Нижегородский художественный музей. Когда память отбрасывает за ненадобностью какие-то случившиеся в прошлом события, нельзя не задаться вопросом, почему забываются такие, а не какие-то другие тексты, события и факты и до каких пределов может дойти в забвении культура, чтобы не утратить при этом главного своего свойства – быть коллективной памятью семьи, рода, нации, этноса, социума. За редким исключением забвению подлежат обычно внешне несущественные для сообщества события и факты, активации – востребованные по случаю воспоминания, прежде всего о таких событиях и фактах, в которых отражается наилучшим образом настоящее в релевантном для человека контексте жизни. В воспоминаниях о таких свершившихся в прошлом событиях – объяснение, а иногда и оправдание настоящего, и прогнозирование ближайшего будущего. Ибо, как и в человеческой памяти, только так можно «извлечь выгоду из своего прошлого опыта»*. С падением СССР предельно актуальным становится восстановление разорванных звеньев цепи времен, с воссоединением Крыма с Россией – доселе забытая история Новороссии, с активизацией реваншизма в бывших советских республиках – победа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Потребность в постоянной актуализации текстов прошлого в синхронном срезе настоящего – свойство культуры. По свидетельству историков и семиотиков культуры, коды памяти, по которым культура отбирает актуальные для нее тексты из близкого или далекого прошлого, так же принадлежат к современной эпохе, как и коды, по которым создаются новые тексты**. В таком обмене, точнее: диалоге между прошлым и настоящим – залог существования любой культуры.

Без культурной памяти не обойтись и в чтении даже, казалось бы, хорошо знакомых со школьной скамьи книг. Например, современному школьнику невдомек, почему в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» сосед Ленского по деревне сравнивается с римским поэтом

* По определению А. Бергсона, «живое существо заинтересовано в том, чтобы схватить в настоящем положении то, что сходно с положением предшествующим, и затем сблизить предшествовавшее с последующим, – ибо только таким образом может оно извлечь выгоду из своего прошлого опыта. <...> ассоциации по сходству и по смежности суть единственные, имеющие жизненную полезность» (А. Бергсон. Материя и память // Собрание сочинений. Т. 3. СПб.: Издание М. И. Семенова, 1912. С. 241).

** Ю.М. Лотман. Память культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 614–621.

и как надобно понимать выражение *сажать капусту* во фразе *Капусту садит, как Гораций* (гл. 6, VII). Действительно, почему Зарецкий сравнивается с Горацием и почему сажает капусту, а не привычную для русской деревни картошку? В. Набоков поясняет: «На самом деле это – распространенный галлицизм *planter des (ses) choux*, означающий "жить в деревне"»*.

Без необходимых «археологических» знаний нельзя также понять, почему Зарецкий характеризуется еще и как *отец семейства холостой* (гл. 6, IV). С точки зрения формальной логики это противоречивая дефиниция. По определению отец семейства не может быть холостым, холостой – отцом семейства. Чтобы снять противоречие, необходимо нейтрализовать контрарные признаки: «холостой» – «женатый». В этом случае одно из определений будет восприниматься в прямом смысле, другое – в переносном смысле: холостой (формально) – отец семейства (фактически). Но чтобы быть уверенным в правильности толкования, без реконструкции культурно-исторической ситуации – того, что иногда называют «правильным историческим горизонтом» (Х.-Г. Гадамер), не обойтись. Ю.М. Лотман поясняет: «Несмотря на иронический характер, это выражение являлось почти термином для обозначения владельца крепостного гарема и могло употребляться в нейтральном контексте»**. И современники Пушкина не видели, стало быть, противоречия; и не было никаких сложностей для понимания: коль скоро помещик владеет крепостными, то вправе ими распоряжаться, оставаясь при этом «честным и хорошим человеком» (франц. *honnête homme*), по своему усмотрению вплоть до создания гарема из крепостных девок.

Не меньшие сложности для понимания вызывает, кроме того, и *облатка розовая*, которая *сохнет на воспаленном языке* Татьяны Лариной. Обратившись к «Словарю русского языка», читаем, что облатка – это «небольшой полый внутри шарик из крахмальной муки, желатина и т. п. для приема лекарств в порошках. Хинин в облатках» (С. И. Ожегов). Неужели, возникает вопрос, Татьяна страдала малярией? Заглянув в энциклопедический словарь, узнаем, что облатка имеет отношение к обряду причащения в католической церкви. Означает ли это, вопрошает известный отечественный исследователь, что Татьяна была тайной католичкой? Между тем В. Набоков поясняет: «Конверты еще не были изобретены; сложенное письмо запечатывалось специальной клейкой пастой с розовым оттенком в форме кружка, как в данном случае»***. Реконструкция культурно-исторической ситуации позволяет, таким образом, воссоздать «правильный исторический горизонт», без учета которого даже самое что ни на есть обычное выражение может показаться если не аномальным, то весьма странным.

Культура как специфический класс явлений с символическим значением. По свидетельству историков и семиотиков культуры, культура – специфический класс явлений, наделенных символическим значением****. Символическим можно назвать, в частности, такое поведение, в котором совершаемое человеком действие не ограничивается выражаемым его формой тривиальным значением, а означает в системе

* В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб, 1998. С. 442.

** Ю.М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. С. 289

*** В. Набоков. Цит. произв. С. 333–334.

**** Ср., в частности, Л.А. Уайт. Цит. произв. С. 21–23

межличностных отношений нечто большее, чем просто произвольное движение тела или отдельных его частей. Например, наклон головы в сторону повстречавшегося вам знакомого – это не просто случайное движение головой, но еще и узаконенный культурой знак приветствия, а церемониальный поклон с наклоном верхней части туловища в сторону собеседника – знак благодарности, покорности или признания высокого социального статуса, которым обладает повстречавшийся вам человек. Действительная значимость подобных действий задается не ситуативным контекстом и даже не самим по себе действием, а опосредованной им конвенциональной системой с указанием на ассоциируемые с ним символические смыслы. Правильно идентифицировать их можно только при условии, если известно, что за ними стоит и к чему они отсылают. За отсутствием такого специфически культурного знания наклон головы можно принять за резкую боль в шее, чмоканье в щеку – за прилив чувств или любовную связь, похлопывание по плечу – за непростительную фамильярность, подмигивание – за попавшую в глаз соринку, крепкое рукопожатие – за знак агрессии, стремление подавить собеседника и т. п.

Тенденция к символизации – неотъемлемое свойство культуры. Символическое значение здесь принимают даже самые, казалось бы, обыденные вещи: торговые марки, атрибуты туалета, спиртные напитки, авто, марки парфюма и т. д. Марка автомобиля указывает на социальный статус, обладание богатой библиотекой – на образованность владельца, административная функция – на место в социальной иерархии. И даже явления природы могут наделяться в символической проекции сверх-значением при условии, если им можно подобрать в качестве аналога какое-то поверье, предзнаменование или особо ценный художественный факт. Так, в неизвестном романе М. Пруста небо восхищает не само по себе, а потому что напоминает картины Тернера; нормандская яблоня прекрасна, потому что ассоциируется с японской ширмой; случайно повстречавшаяся девушка хороша, потому что напоминает модель с картины Ренуара*.

Значимость порождаемых культурой символов возрастает по мере сакрализации предметной области, к которой они относятся в системе культуры: чем сакральнее область – тем значительнее в пропорциональной зависимости мощность ассоциируемого с ней символа. Это не просто случайно подобранные знаки-ярлыки. Такие символы преисполнены особой эмоциональной значимости, поскольку аккумулируют в себе фундаментальные культурные ценности и идеалы, относительно которых совершается самоидентификация как коллективного, так и индивидуального сознания. Вот почему неправомочные манипуляции с символами особой мощности – атрибутами веры, национальными реликвиями, местами памяти, государственной символикой, классическими произведениями национальной литературы – воспринимаются культурным сообществом как абсолютно враждебное поведение, как посягательство на непреложные ценности, как стремление нанести урон всем и вся, а не просто как девиантное поведение или хулиганская выходка. Сами того не ведая, подростки, выложившие в Интернет фото с надувной куклой у памятника павшим в Великой Отечественной войне, медсестры, позирующие на фоне человеческих органов, наносят

* В терминах св. Августина это *transcensus sui ipse* «переступание пределов самого себя», в терминах Ч. Пирса – «перевод в другие символы», в терминах Р.О. Якобсона – перекодировка.

культуре куда более серьезный урон, чем несоблюдение дресс-кода или правил застольного этикета.

Культура как аксиологическая система. Какой бы ни была предметная область, культура строится как некая возводимая в абсолют система ценностей с «базисными суждениями», призванными ответить в актуальном для человека контексте жизни на извечный вопрос, что есть благо, добро, красота. Поэтому понять, почему нечто квалифицируется говорящими таким, а не каким-то другим образом, почему для русского хорошо, для немца смерть, можно только путем подгонки к исторически сложившейся в культурном сообществе системе представлений, которыми говорящие руководствуются, пока не появятся более веские причины для отказа от них, в повседневной деятельности. В таких представлениях кроется не только информация об окружающих нас в мире вещах, но и мнение по поводу этих вещей в виде какого-то определенного ценностного суждения*.

В качестве примера возьмем такое высказывание поморского охотника и рыбака: *Мало того что малый ребенок умеет веслом владать, баба, самая баба – уж чего бы, кажись, человека хуже?! – а и та, что белуга, что нерьпа, – лихая в море. Смело давай ей руль в лапу и спать ложись, не выдаст: не опружит и слезинки тебе единыя не покажет...* (С.В. Максимов). Будучи в целом противоречивой, оценка задается оценочными предикатами *человека хуже, лихая в море, не выдаст* и др. в отношении уступительной конъюнкции, позволяющей если не подавить, то хотя бы компенсировать общеприятную оценку какими-то частными достоинствами. Причем понять, почему в суждении о женах и дочерях поморов отбираются такие, а не какие-то другие свойства, почему рус. *баба* характеризуется в общей оценке отрицательно (*человека хуже*), в частной – положительно (*лихая в море, не выдаст...*) и почему положительная оценка задается, наконец, в сравнении с морскими животными (*что белуга, что нерьпа*) можно только обратившись к сложившимся в аксиологической системе поморов нормативным установкам. Интерпретантом отношения *баба* → /-/ (в контексте «человека хуже») является, по всей видимости, мнение: *по сравнению с мужиком баба слаба*; интерпретантом отношения *баба* → /+/ (в контексте «не выдаст: не опружит и слезинки тебе единыя не покажет») – *баба вынослива и терпелива, на нее можно положиться в трудной ситуации*; интерпретантом транспозиции *баба* → *белуха* («белуга»), *баба* → *нерпа* («нерьпа») – такое весьма существенное обстоятельство, что для обозначения отважных гребцов в речевом обиходе поморов нет иного класса вспомогательных существ, кроме разве только морских млекопитающих подотряда зубатых китов или ластоногих млекопитающих семейства тюленей.

Культура как норма. В качестве узуального типа, детерминирующего поведение человека, культура предстает и как средоточие множества социальных норм. В предельно общем виде это точка отсчета в виде какой-то возведенной в абсолют институциональной модели, относительно которой устанавливают соответствие в границах

* Недаром в определении Э. Гуссерля *вещи* – это не просто-таки вещи природы, а непосредственное видение – не просто чувственно, постигающее опытным путем зрение: «мир для меня – не просто *мир вещей*, но <...> и *мир ценностей, мир благ, практический мир*» (Э. Гуссерль. Общее введение в чистую феноменологию // Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999: 52–53, 67).

между «можно» – «нельзя», «допустимо» – «недопустимо», в сугубо специальном смысле – система унифицированных установлений прескриптивного характера в приложении к какой-то определенно сфере социальной деятельности: *норма поведения*, *правовые нормы*, *языковая норма*. В известном смысле это общепринятые представления типа *doxa*: «мнение большинства» в определении Платона, «что кажется правильным всем или большинству людей» в определении Аристотеля*, «подразумеваемое» семьи, рода, нации, класса в определении В.Н. Волошинова**. Достоверны или нет такие системы в смысле объективном, заранее знать нельзя; зато можно утверждать безусловную их достоверность как данного коллективного сознания***. В феноменологическом отношении они образуют, говоря словами Гуссерля, всеохватывающий горизонт «жизненного мира», в который мы вживаемся и на котором только можем понять, что представляют для нас «в модусе актуальной обращенности» все лежащие внутри этого горизонта вещи****.

Идею нормативности лучше всего иллюстрируют этика, эстетика и юриспруденция. В приложении к этике это нравственные регуляторы поведения человека; в приложении к эстетике – исторически переменчивые представления о прекрасном; в приложении к праву – свод законов, постановлений и прочих нормативных актов, регулирующих общественные отношения. Например, чтобы понять тавтологичное высказывание вида *Война есть война*, необходимо знать, замечает Ю.Д. Апресян, чем «наблюдаемое положение вещей отклоняется от нормы добра, человечности, морали, порядка»****. Не менее показательны и широко используемые в качестве «инструмента идеологического воспитания» так называемые упражнения с *пропусками* во французской школьной практике. Учащимся младших классов предлагается, например, установить наиболее подходящий вариант сочетаемости существительных *prisonnier* «заключенный» и *directeur de prison* «начальник тюрьмы» с прилагательными *bienveillant* «доброжелательный» и *repentant* «раскаивающийся», а затем привести соответствующие доводы в пользу «правильного» выбора: (i) если заключенный, значит виновный; (ii) если виновный, значит должен раскаяться. С помощью таких упражнений нельзя, конечно, обучиться языку, зато можно усвоить, заключает Ф. Растье, некоторые социальные, в данном случае этические нормы*****.

Взаимодействие между разными видами нормирования слишком сложно и многообразно, чтобы представлять его как заведомо простой конгломерат в отношении сложения, ни тем более утверждать выполнимость сразу всех входящих сюда норм-формулировок*****. Разные си-

* Аристотель. Топика // Сочинения в четырех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 349.

** В. Н. Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: Аста-пресс Ltd, 1995.

*** В этом смысле норма подменяет собой истинностное значение.

**** Э. Гуссерль. Цит. произв. С. 65–69, 116–118.

***** Ю. Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 167.

***** Ф. Растье. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 143.

***** Ополной выполнимости можно, очевидно, говорить только в отношении какого-то одного вида нормирования. И только при условии, если все образующие его формулировки актуальны и непротиворечивы. Ср. «Норма *О- выполняема*, если и только если возможно, что действия и/или воздержания от действия, которые являются содержанием нормы, имеют место при *всех* событиях (в истории нормы), которые

стемы нормирования могут соотноситься между собой по принципу дополнительности, входить в противоречие, одна норма – преобразовываться или подавляться другой. Нельзя исключать, кроме того, и случаи, когда затруднительно или нельзя вообще сказать, каким социальным нормам удовлетворяет или должны удовлетворять те или иные действия, поступки или высказывания.

Рассмотрим наиболее типичные случаи.

• *Социальные нормы в отношении конъюнкции.* При участии нескольких видов нормирования разные нормы могут входить в отношения дополнительности* и образовывать совместно систему, например систему представлений о мире, отдельные составляющие которой предполагают друг друга в необходимом различии как формулировки дополняющих друг друга системных инстанций. В идеальном раскладе учитывать приходится в таком случае все без исключения систематики, а в «сокращенном» толковании – такие и только такие, с которыми согласуются базисные установки интерпретатора. Показательным тому примером служат, в частности, разные толкования того же художественного произведения, выполненные в зависимости от избираемой стратегии интерпретации в идеологическом, морально-этическом, мифопоэтическом, психоаналитическом или каком-то другом ключе. Обратившись, например, к «Человеческой комедии» Бальзака, все входящие сюда сюжетные линии можно ограничить в вульгарно-социологическом прочтении социальными отношениями, поступки действующих лиц соизмерить с бытовавшими во французском обществе нравами и обычаями, прически и наряды проверить на соответствие моде, а всепоглощающую страсть к наживе соотнести в психоаналитическом прочтении с подавленными сексуальными желаниями.

• *Социальные нормы в отношении дизъюнкции.* При участии нескольких видов нормирования разные нормативные системы могут входить в отношения дизъюнкции. В качестве примера возьмем рассуждения о пользе шахмат в романе В. Набокова «Защита Лужина» (1929): *Дочь показала ей последний номер берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена чем-то замечательная партия, недавно выигранная Лужиным. «Но разве можно увлекаться такими пустяками?» – воскликнула она, растерянно глядя на дочь, – всю жизнь ухлопать на такие пустяки. <...> Вот у тебя был дядя, он тоже хорошо играл во всякие игры, – в шахматы, в карты, на бильярде, – но у него была и служба, и карьера, и все». — «У него тоже карьера, – ответила дочь, – и право же он очень известен. Никто не виноват, что ты шахматами никогда не интересовалась». — «Фокусники тоже бывают известные», – ворчливо проговорила она, но все же призадумалась и решила про себя, что известность Лужина отчасти оправдывает его существование (гл. VII).*

В интенционально-ориентированной рефлексии оценка Лужина задается по роду деятельности, а точнее: по высказанному в отношении его деятельности мнению: (1) *занятие шахматами – пустое времяпрепровождение* и (2) *занятие шахматами – тоже профессия.*

предоставляют возможности (заинтересованному действующему лицу) для таких действий и/или воздержаний от действий, то есть при всех событиях, когда условия применения нормы выполняются» (Вригт Г. Х фон. Логико-философские исследования: Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 376).

* При условии, разумеется, если все входящие в сообщение нормы-формулировки непротиворечивы.

В первом случае *шахматы* подводятся наряду с *загадками*, *крестословицами*, *картами* и *бильярдом* под развлечения, а будущий зять расценивается как человек никчемный («разве можно увлекаться такими пустяками?»); во втором – под какую-никакую, но профессию, а Лужин расценивается как человек серьезный и даже успешный («У него тоже карьера <...> и право же он очень известен»). Причем судить, какому нормативному суждению отдавать предпочтение, можно только в рамках заданной системы представлений.

• *Нарушение одной нормы в интересах другой.* При участии нескольких видов нормирования одна норма может подавляться другой. Показательным тому примером являются отступления от норм литературного языка в целях создания особого художественного эффекта в литературной практике. Действительно, будь то ненормативная лексика, смещенное словоупотребление, морфологические ошибки, нарушение правил лексической сочетаемости или какие-то иные языковые погрешности, всякое отступление от нормы в оперировании языковым кодом симптоматично в той мере, в какой предстает как условие литературности. Недаром в знаменитой статье В. Шкловского «Искусство как прием» (1919), поэтический язык определяется преимущественно в плане деформации языка практического как результат совершенной над ним операции деконструкции – «остранения». Так деконструкция возводится в достоинство «конструктивного фактора»^{*}.

• *Преобразование одной нормы другой.* Не менее показательны и случаи преобразования, когда какая-то норма служит основанием утверждения другой нормы. Так, по свидетельству Я. Мукаржовского, нравственная норма, представленная в романе через противопоставление положительного и отрицательного героев, может восприниматься в качестве «конструктивного фактора» художественного произведения и тем самым преобразовываться в норму эстетическую^{**}. Не исключаются и противоположные случаи, когда эстетические нормы трансформируются в нормы неэстетические. Например, эстетическая норма становится языковой, когда какое-то сугубо поэтическое использование языка вроде специфического оборота речи, неконвенционального словосочетания или употребления автоматизируется в речевом обиходе вплоть до возведения в достоинство общезначимой языковой нормы. Поведенческой эстетическая норма становится в свою очередь, когда избирается в повседневной деятельности в качестве программы чуть ли не бытового поведения. Весьма примечательна в этой связи роль театра, литературы и искусства в жизни общества в конце XVIII – начале XIX вв. с обыкновением перевоплощаться в соответствии с приличествующим занимаемому положению амплуа в Катона, Брута или Мельмота. По наблюдениям Ю.М. Лотмана, «театр вторгается в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере

* Из этого, разумеется, не следует, что всякое нарушение нормы в оперировании языковым кодом становится непременно эстетической нормой. Отступление от языковой нормы может также использоваться в целях дискредитации предмета речи, для социальной характеристики говорящего или в интересах языковой игры для достижения, например, комического эффекта.

** Я. Мукаржовский. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 35–121

театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового поведения»^{*}.

Экология культуры. По определению акад. Д.С. Лихачева, экологию нельзя ограничить заботой об охране природной среды. Не менее важной задачей является также сохранение культурной среды, столь же необходимой для духовной, нравственной жизни человека, как и природа. В одном случае речь идет о лесах, озерах, морях и реках, качестве воздуха, воды и земли, в другом – о веками складывающемся культурном пространстве. Несоблюдение законов биологической экологии может, заключает Д.С. Лихачев, убить человека биологически, несоблюдение законов экологии культурной – убить нравственно^{**}. И то и другое страшно.

Вопрос о сохранении культурной среды не ограничивается, конечно же, заботой о памятниках культуры. Культурную экологию нельзя сводить исключительно только к сохранению и реставрации отдельных памятников. «Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом». «По частям» – это защита и сохранение отдельных памятников и областей культуры, «в целом» – сохранение общего для всего наследия культурного кода, кода памяти, так или иначе выражающего дух народа, защита от коммерциализации и «загрязнения» псевдокультурными симулякрами, пастишами и постмодернистскими инновациями как наиболее опасными для экологии культуры угрозами и вызовами.

Возможно, согласимся с Ю.М. Лотманом, создаваемые в ходе художественной эволюции принципиально новые тексты ни физически, ни семиотически не уничтожают тексты предшествующих эпох, а разве только деактуализируют их на какое-то неопределенное время в интересах новой эстетики, новой культуры, новой идеологии^{***26}. Но так ли обстоит с «новаторским» преобразованием классических художественных образцов? Или с ними происходит, возьмем другую предлагаемую семиотиком параллель, что и с мышью, поедаемой кошкой, старым техническим изобретением, хотя и сохраняющим свое физическое бытие, но «съедаемым» новым техническим изобретением?

Иначе говоря, подвергается ли культурное наследие в подобных случаях информационно-смысловому уничтожению? Например, когда Мане создает «Завтрак на траве» с оглядкой на хранимые в Лувре классические образцы, когда Дюшан подрисовывает Моне Лизе усы, когда Пикассо переиначивает на свой вкус инфант Веласкеса, остается ли информационно неизменным взятый в качестве образца подлинник? Или, вступая в новые отношения с совершенной с ним трансформацией,

^{*} Ю.М. Лотман. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство – СПб, 1994. С. 183. Весьма примечательна, кроме того, история, рассказанная про князя Григория Голицына, разыгрывавшего из себя в Пензе по примеру Людовика XIV владетельную особу. В подражание Королю-Солнцу князь завел себе, несмотря на то, что искренне любил и уважал жену, двух мнимых пожилых метресс – Монтеспан и Лавальер, которым жена должна была оказывать в соответствии с отводимой ей ролью чрезвычайную холодность. Кроме Людовика XIV, образцом служил и царь Давида. В соответствующем одеянии князь распевал, аккомпанируя себе на арфе, псалмы на мотивы «При долинушке стояла» или «Lison dormait dans un bocage». Подробнее см. В. А. Верещагин. Разоренное гнездо // Памяти прошлого. СПб.: Сириус, 1914. С. 9–24.

^{**} Д.С. Лихачев. Экология культуры // Памятники Отечества». 1980. № 2.

^{***} Ю.М. Лотман. Культура как субъект и сама-себе объект // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 639–647.

обрастает, будто снежный ком, новыми напластованиями; и мы взираем на него сквозь призму чуждых смыслов, заслоняющих собой изначально заданный, культурно значимый смысл?

Разумеется, старые художественные формы эволюционируют, как эволюционирует с увеличением степеней свободы и последующая их рецепция. Каждая эпоха вычитывает, а порой и привносит в тексты прошлого свои смыслы. Генерирование новых смыслов – неотъемлемое свойство культуры. Но как избежать эрозии культурного наследия, не нанести ущерб культурной экологии, не переиначить в деконструктивистском порыве классические тексты, как это происходит, например, с психоаналитическими интерпретациями произведений Пушкина и Гоголя, постмодернистским переосмыслением картины Левитана «Над вечным покоем», оперы Чайковского «Евгений Онегин» или пьесы Чехова «Три сестры»?

В деконструктивистских реинтерпретациях классических произведений можно при желании усмотреть и извечный спор древних и новых, и привычные разногласия архаистов и новаторов, и борьбу культуры с не-культурой, и соответственно истолковать сообразно ценностным приоритетам как необходимое условие культурной эволюции или как моральную деградацию культуры. Но, каким бы ни было решение, нельзя не отметить такое весьма существенное для культуры обстоятельство. Чем больше размываются и расшатываются во имя индивидуальной творческой свободы узаконенные культурой запреты и ограничения, тем значительнее предстает и совершаемая с классическим текстом трансгрессия, а вместе с ней и наносимый культуре ущерб. Взятый в качестве исходного материала образец, пусть и сохраняется физически в первоначальном своем виде, подвергается в процессе «употребления» необратимым информационно-смысловым преобразованиям вплоть до слома культурного кода и забвения общей культурной памяти.

Для понимания сути такой коллизии уместна широко обсуждаемая с недавних пор аналогия с ситуацией из «Книги джунглей» Р. Киплинга – беспощадной войной между героизированными разумными животными и непредсказуемыми безнравственными бандарлогами. Одни руководствуются в своем поведении узаконенной системой нормативных предписаний, правил и законов; другие, не ведая запретов, ведут «войну без правил». Возводя нарушение правил в норму, можно, конечно, одержать победу над врагом, но вряд ли построить сколь-нибудь эффективную модель культурного поведения.